

Встрѣчи и столкновенія ¹⁾.

(А. Д. Градовскій, Робертъ Моль, С. Н. Тершигоревъ) ²⁾.

А. Д. Градовскій.



На рубежѣ двухъ смѣняющихся эпохъ обыкновенно встрѣчаются дѣятели, носящіе на себѣ признаки обѣихъ,—отживающей и нарождающейся. Такимъ дѣтелемъ несомнѣнно былъ А. Д. Градовскій.

Народная масса *quantité négligible*: за нее думаютъ, ее судьбу опредѣляютъ другіе факторы народной жизни—правительство и общество. Такъ смотрѣли на дѣло обѣ стороны: въ этомъ пунктѣ онѣ сходились, и для нихъ вопросъ заключался только въ томъ, кому должна принадлежать руководящая роль,—правительству ли въ тѣсномъ смыслѣ, или правительству и тѣмъ общественнымъ элементамъ, которые не отказываются дѣйствовать съ нимъ совмѣстно, или, наконецъ, тѣмъ общественнымъ элементамъ, которые находятся въ состояніи борьбы съ правительствомъ. Соотвѣт-

¹⁾ См. „Русская Старина“ май 1912 г.

²⁾ Въ отвѣтъ на помѣщенную въ іюльской книгѣ „Русской Старины“ поправку Товарищества М. О. Вольфъ, Р. И. Сементковскій сообщаетъ, что его воспоминанія о М. О. Вольфѣ буквально основаны на хранящихся у него письмахъ покойнаго книгопродавца, которыя онъ съ готовностью предъявитъ заинтересованнымъ въ дѣлѣ лицамъ. Что же касается упомянутой въ поправкѣ „націоналистической выходкѣ“, то ею нельзя назвать простое констатированіе факта, что М. О. Вольфъ былъ польскій еврей. Впрочемъ, автора ограждаетъ отъ подобнаго рода подозрѣній вся его литературная дѣятельность, что въ свое время вполне подтвердила сама фирма посвященной ему лестной біографіей.

ственно, общество распалось на три основныя партіи: консерваторовъ, требовавшихъ, чтобы все вліяніе, вся власть принадлежали исключительно правительству; либераловъ, требовавшихъ, чтобы вліяніе принадлежало и правительству, и народу, подъ которымъ подразумѣвались общественные элементы, не отвергавшіе совмѣстную дѣятельность съ правительствомъ, и, наконецъ, революціонную партію, требовавшую, чтобы правительство удалилось, и чтобы власть была предоставлена опять-таки народу, подъ которымъ на этотъ разъ уже подразумѣвались общественные элементы, объявившіе правительству войну. Такимъ образомъ, все сводилось къ борьбѣ съ правительствомъ, при чемъ со стороны революціонной партіи безусловно исключалась мысль, что правительство можетъ служить прогрессу и культурѣ. Постепенно этотъ приговоръ революціонной партіи усвоенъ былъ все большимъ числомъ представителей русскаго общества. Въ мои студенческіе годы процессъ этотъ уже обозначился, хотя мало кто его ясно сознавалъ, и тѣмъ профессорамъ, которые хотѣли играть общественную роль, приходилось выбирать между тремя отмѣченными мною партіями. Одни профессора прямо примыкали къ одной изъ трехъ партій, а другіе угождали и правительству, и обществу, т. е. въ сущности революціоннымъ элементамъ, потому что борьба съ правительствомъ уже въ то время пріобрѣла среди студентовъ очень острый характеръ. На этой почвѣ народился новый типъ профессора, получившій впоследствии преобладаніе. Одинъ изъ первыхъ его представителей и былъ А. Д. Градовскій.

Школьные его товарищи мнѣ передавали, что онъ отличался въ гимназій большимъ трудолюбіемъ, но что они очень удивились, услыхавъ, что онъ сдѣлался виднымъ ученымъ; способностями онъ ни въ гимназій, ни потомъ въ университетѣ не отличался. Повидимому, ученая карьера была ему въ началѣ дѣйствительно чужда, потому что, окончивъ университетъ, онъ тотчасъ же поступилъ на правительственную службу чиновникомъ особыхъ порученій при воронежскомъ губернаторѣ и редакторомъ „Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“. Слѣдовательно, въ началѣ его карьеры сомнѣнія были ему какъ будто чужды: изъ двухъ борющихся силъ онъ выбралъ правительство и рѣшительно примкнулъ къ нему.

Онъ началъ читать лекціи въ Петербургскомъ университетѣ при мнѣ и сразу пріобрѣлъ среди студентовъ популярность. Я недоумѣвалъ, чѣмъ собственно она была вызвана. На магистерскомъ диспутѣ онъ проявилъ и находчивость, и смѣлость, но краснорѣчіе его было болѣе чѣмъ сомнительно: особенно непріятно дѣйствовали его продолжительные вздохи, какъ будто ему не хватало воздуха—пер-

вые признаки, полагаю, сердечной болѣзни, которая его преждевременно свела въ могилу. На вступительной же своей лекціи онъ провелъ недопустимую съ либеральной точки зрѣнія мысль, что Россія представляетъ собою страну, въ достаточной мѣрѣ свободную, и что ей мудрыми правителями дано все, что необходимо для гражданскаго преуспѣянія. Меня, помню, даже поразило, что подобная вступительная лекція, предназначенная очевидно для властей, на ней присутствовавшихъ, и напечатанная потомъ въ „Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія“, могла пройти безнаказанно для его популярности. Но фактъ тотъ, что Градовскій какъ-то сразу приобрѣлъ репутацію очень либеральнаго профессора, и никто не сомнѣвался, что онъ всецѣло стоитъ не на сторонѣ правительства, а на сторонѣ общества.

Однако, надъ нимъ вскорѣ стряслась бѣда. Произошли студенческіе беспорядки, назначенъ былъ университетскій судъ, и на судѣ Градовскій рѣшительно высказался за наложеніе на нѣкоторыхъ студентовъ-радикаловъ строгаго дисциплинарнаго взысканія. Нѣтъ ничего тайнаго, что не обнаружилось бы рано или поздно. На этотъ разъ тайное обнаружилось очень скоро, и вмѣстѣ съ тѣмъ произошло событіе, которое, помню, меня возмутило до глубины души.

Когда Градовскій явился на лекцію, студенты загнали его въ корридоръ въ уголъ и начали его поносить бранными словами,—такими словами, какими перебраниваются только ломовые извозчики. Сцена эта продолжалась долго. Градовскій былъ блѣденъ, какъ полотно, и отмалчивался, опасаясь, очевидно, какъ бы его не ударили. Хотя я не зналъ, что у него сердечная болѣзнь, да ея, можетъ быть, тогда еще не было, тѣмъ не менѣе мнѣ за него страшно стало, и я крикнулъ: „Господа, что вы дѣлаете? вѣдь такъ убить человека можно!“ Но меня не слушали и только, выругавшись всласть, студенты, наконецъ, отпустили Градовскаго, который поспѣшилъ уѣхать домой.

Я опять подумалъ, что надъ популярностью профессора поставленъ крестъ. Но не успѣлъ я еще кончить курса, какъ благодаря анти-правительственнымъ аллегоріямъ, которыми онъ зачастую угощалъ насъ на лекціяхъ, популярность его возрасла. Придаться къ его словамъ было трудно, но студенты отлично понимали, въ чемъ дѣло, тѣмъ болѣе, что имъ въ то время немного надо было: какой-нибудь невиннѣйшій по теперешнимъ понятіямъ намекъ заставлялъ радикальное сердце сильнѣе биться и подчасъ приводилъ въ движеніе руки, такъ что Градовскій нерѣдко срывалъ аплодисменты.

Я думаю, что вышеизложеннаго вполне достаточно, чтобы составить себѣ ясное представленіе объ истинномъ характерѣ лекцій

Градовскаго. Онъ останавливался преимущественно на такихъ темахъ, которыя въ политическомъ отношеніи волновали общество, и рѣшалъ ихъ въ направленіи, лучше всего характеризуемомъ поговоркой: „и волки цѣлы, и овцы сыты“. Выберетъ онъ, напримѣръ, вопросъ о раздѣленіи властей или о различіи между закономъ и административнымъ распоряженіемъ. Очевидно, вопросы эти въ доконституціонной Россіи ни теоретическаго, ни практическаго рѣшенія получить не могли, потому что законодательная и административная власть по существу сливались въ одномъ основномъ источникѣ. Поэтому даже гарантіи, которыя создавались самимъ законодателемъ для обезпеченія ненарушимости закона, ни къ чему не вели: и дѣятельность Сената въ столицѣ, и дѣятельность прокуровъ и губернскаго правленія въ провинціи могли рассчитывать на успѣхъ только въ томъ случаѣ, если высшее начальство (губернаторъ, министръ или верховная власть) знали о нарушеніи закона и возстанавливали его силу. Слѣдовательно, провести какую-нибудь твердую границу между закономъ и административнымъ распоряженіемъ не было никакой возможности. Но Градовскій изощрялся въ рѣшеніи этого и подобныхъ вопросовъ. Невольно, бывало, въ душѣ расхохочешься, когда онъ съ одной стороны доказывалъ, что „не одно законодательство могло бы въ этомъ вопросѣ позавидовать русскому“, а съ другой стороны выяснялъ, что „граница между закономъ и административнымъ распоряженіемъ можетъ быть проведена только въ каждомъ данномъ случаѣ“. Градовскій, конечно, зналъ, что онъ дѣлалъ: мысль о блестящемъ положеніи нашего законодательства предназначалась для властей предержавшихъ, а ироническое замѣчаніе о полной невозможности провести какую бы то ни было общую границу между закономъ и административнымъ распоряженіемъ предназначалась для нашего брата-студента и способствовала популярности профессора. Словомъ, Градовскій является однимъ изъ отцовъ позднѣйшей столь распространенной тактики: не порывать съ правительствомъ, но въ то же время всячески угождать и обществу.

Помню, я во времена студенчества никакъ не могъ уяснить себѣ причину популярности Градовскаго, и мнѣ все казалось, что она, равно какъ и его репутація виднаго ученаго, должны были померкнуть. Я чувствовалъ, что въ лекціяхъ Градовскаго есть глубокое внутреннее противорѣчіе, какая-то фальшь, отъ которой мнѣ всегда становилось не-по-себѣ. Правительство и та часть общества, которая до извѣстной степени завладѣла духовно университетомъ, стояли другъ противъ друга, какъ двѣ враждебныя силы, какъ двѣ непріятельскія арміи, а профессора типа Градовскаго

служили одновременно въ обѣихъ арміяхъ, облакаясь въ мундиры то одной, то другой и оказывая обѣимъ существенныя услуги. Мнѣ все казалось, что эта тактика будетъ тотчасъ же раскрыта, и что подобный пріемъ, какъ слишкомъ элементарный, никого не обманетъ, и, слѣдовательно, успѣха имѣть не можетъ. Но на самомъ дѣлѣ она успѣхъ имѣла огромный, и число послѣдователей Градовскаго возрастало въ геометрической прогрессіи.

Стоить ли теперь объяснять, почему я ошибся? Громадное большинство русскихъ интеллигентныхъ людей до сихъ поръ еще люди 20-го числа, а 40 лѣтъ тому назадъ человекъ, не состоявшій на правительственной службѣ, представлялъ собою что-то въ родѣ бѣлой вороны. Между тѣмъ борьба двухъ враждебныхъ лагерей все обострялась, и вліяніе общества усиливалось. Правительство все кормило интеллигенцію, но и общество давало ей кое-что. Поэтому было крайне невыгодно порывать съ правительствомъ, но было выгодно угождать и обществу либо непосредственно, т. е. пріобрѣтеніемъ популярности, что открывало многіе сторонніе заработки (напримѣръ, въ журналистикѣ), либо косвенно, т. е. пріобрѣтеніемъ симпатіи либераловъ, уже прочно засѣвшихъ въ правительствѣ и занимавшихъ въ немъ болѣе или менѣе вліятельныя мѣста. Градовскій указалъ передовой интеллигенціи путь, какъ можно спокойно оставаться на правительственной службѣ и въ то же время пріобрѣтать общественныя лавры. Неудивительно поэтому, что почтеннѣйшій Александръ Дмитріевичъ сдѣлалъ школу, и что память его свято хранится всѣми русскими дѣятелями, которые прониклись важнымъ практическимъ значеніемъ пословицы: „ласковый теленокъ двухъ матокъ сосеть“.

Градовскому, какъ публицисту, принадлежитъ нѣсколько крылатыхъ словъ. Я отчетливо помню два. Гоголя онъ называлъ поэтомъ „пошлости“. Онъ, очевидно, не могъ примириться съ жестокимъ осмѣяніемъ нашимъ сатирикомъ русскаго общества и думалъ польстить послѣднему, переводя грѣхъ съ больной головы на здоровую: Гоголь-де осмѣялъ русское общество вовсе не потому, что оно этого заслуживаетъ, а потому, что Гоголю доставляло особое удовольствіе купаться въ человѣческой пошлости. Профессоръ государственнаго права не хотѣлъ понять, что Гоголь—послѣдній пламенный проповѣдникъ русской государственности среди свѣтилъ нашей литературы, что, если онъ жестоко казнилъ русское общество, то именно съ точки зрѣнія утраты имъ тѣхъ качествъ, которыя сдѣлали Россію великимъ государствомъ (недаромъ онъ влагаетъ свой приговоръ надъ русскимъ обществомъ и свой пламенный призывъ спасти родину въ уста генераль-губернатору, чего послѣ Гоголя не рѣшился бы уже сдѣ-

латъ ни одинъ изъ корифеевъ нашей литературы). Но если это крылатое слово Градовскаго, хотя и пришлось по вкусу радикальной критикѣ, вышло неудачнымъ, зато другое можетъ быть признано даже пророческимъ. Создавая его, Градовскій плавалъ въ своей стихіи. Онъ предусматривалъ, что путь, по которому пошла русская радикальная мысль, можетъ привести къ опаснымъ послѣдствіямъ съ точки зрѣнія интересовъ той части русской интеллигенціи, представителемъ которой Градовскій себя чувствовалъ всѣми фибрами своего существа. Если онъ ей указалъ путь, какъ примирить правительственную службу съ служеніемъ обществу, то онъ съ другой стороны предостерегъ ее отъ политики, которая могла нанести сильный вредъ ея матеріальнымъ интересамъ. Уже тогда, въ студенческіе мои годы, началось то хожденіе въ народъ, которое Тургеневъ такъ великолѣпно описалъ въ своемъ романѣ „Новь“ и которое съ каждымъ годомъ разросталось и привело во время русской революціи къ повторенію ужасовъ пугачевского бунта. И вотъ Градовскій, въ предвидѣніи ограбленія и возможнаго избіенія русской интеллигенціи народомъ, пустилъ въ „Голосѣ“ второе свое крылатое слово: „Не будите звѣря!“ Защищая шкурные интересы интеллигенціи, Градовскій оказался пророкомъ, и пророчество его отчасти оправдалось и можетъ оправдаться въ большей степени, если оно русскимъ обществомъ не будетъ принято къ сердцу.

Робертъ Моль.

Еще на студенческой скамьѣ я задумалъ пополнить нашу юридическую литературу однимъ изъ капитальнѣйшихъ трудовъ Роберта Моля, его „Наукою полиціи“ или, выражаясь современнымъ языкомъ, его „Административнымъ правомъ“. Понятно, что я счелъ своимъ долгомъ обратиться къ знаменитому германскому государствовѣду за разрѣшеніемъ. Онъ мнѣ тотчасъ же отвѣтилъ, и его письмо, нигдѣ еще не напечатанное, сохранило до сихъ поръ свое значеніе, хотя оно написано 42 года тому назадъ. Привожу его здѣсь цѣликомъ въ буквальномъ переводѣ:

„Я имѣлъ честь получить Ваше любезное письмо отъ 8-го сего числа.

„Прежде всего приношу Вамъ искреннѣйшую благодарность за сказанное мнѣ Вами доброе слово. Я уже раньше, при другихъ обстоятельствахъ, имѣлъ удовольствіе не только видѣть молодыхъ русскихъ среди своихъ слушателей, но и познакомиться съ ними ближе. За немногими исключеніями, всѣ они проявляли горячую

любовь къ наукѣ и искреннее желаніе быть полезными своему великому отечеству. Въ нихъ было больше свѣжести чувства и воодушевленія, чѣмъ обыкновенно встрѣчаешь у нѣмецкой молодежи. О нѣкоторыхъ изъ нихъ мнѣ впоследствии стало извѣстно, что они съ почетомъ заняли кафедры въ русскихъ университетахъ или сдѣлались дѣльными и уважаемыми правительственными чиновниками.

„Что касается предположеннаго Вами перевода моей „Науки полиціи“, то понятно, намѣреніе Ваше можетъ быть для меня только пріятнымъ и почетнымъ. Чрезвычайно для меня лестна мысль, что мнѣ, благодаря Вашему переводу, дано будетъ принести нѣкоторую пользу или возбудить ту или другую идею въ такой великой странѣ и такъ далеко отъ моей родины. Поэтому я очень охотно даю Вамъ испрашиваемое Вами разрѣшеніе.

„Я счелъ долгомъ увѣдомить и моего издателя о Вашемъ намѣреніи. Понятно, что онъ встрѣтилъ это извѣстіе далеко не съ такимъ удовольствіемъ, какъ я, потому что опасается значительнаго уменьшенія сбыта моей книги въ Россіи. Но онъ мирится съ неизбѣжнымъ. У насъ съ Россіею нѣтъ договора относительно права на переводы. Поэтому издатели не могутъ ставить другъ другу препятствія. Къ искреннему моему удовольствію я долженъ прибавить, что я всегда считалъ международное право на переводы требованіемъ не только чрезмѣрнымъ, но и положительно вреднымъ. Другое приходится сказать, по крайней мѣрѣ, во многихъ случаяхъ, о перепечаткѣ оригиналовъ.

„Въ свое время я съ удовольствіемъ услышу объ окончаніи Вами перевода и отъ души желаю, чтобы Вы были вознаграждены за немалый Вашъ трудъ успѣхомъ и признаніемъ.

„Примите выраженіе полного моего уваженія, съ какимъ честью имѣю быть Вашимъ покорнымъ

Р. Моль.

28-го ноября 1869 г.

Письмо это интересно въ двухъ отношеніяхъ. Во-первыхъ, какъ лестный отзывъ знаменитаго иностраннаго ученаго о русской учащейся молодежи по сравненію съ нѣмецкими студентами. Моль въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ отдаетъ предпочтеніе нашей молодежи, слѣдовательно, русскіе профессора плохо пользуются этимъ благодарнымъ матеріаломъ, если у насъ столько кафедръ пустоеть. Во-вторыхъ, интересно узнать, что одинъ изъ самыхъ выдающихся государствовѣдцовъ XIX в. рѣшительно высказывается противъ стѣсненія права перевода международными договорами. Продуманное оге

мнѣніе имѣеть особенный интересъ для насъ въ настоящее время когда литературная конвенція съ Франціей вызоветъ въ скоромъ времени заключеніе конвенцій и съ другими странами.

Я ограничиваюсь воспроизведеніемъ письма Моля. Что касается научнаго воздѣйствія германскаго ученаго на меня, то оно не подлежитъ здѣсь оцѣнкѣ. Скажу только, что я ему чрезвычайно обязанъ и буду хранить о немъ свѣтлую память до гробовой доски. Онъ, какъ и Рѣдкинъ, научилъ меня (и меня ли одного?) работать въ политическихъ вопросахъ.

С. И. Терпигоревъ.

Съ Терпигоревымъ я познакомился въ 1878 г. Помню, онъ тогда былъ неразлученъ съ А. С. Героглифовымъ, и это меня не удивляло, потому что между ними было очень много общаго. Оба они были прожектеры съ тою однако разницею, что Терпигоревъ любилъ рисковать и поэтому доходилъ иногда до очень печальнаго положенія; Героглифовъ же былъ человѣкъ весьма осторожный и поэтому въ матеріальномъ отношеніи процвѣталъ. Оба они тяготѣли къ литературѣ съ тою опять-таки разницею, что Терпигоревъ льнулъ къ писательству, а Героглифовъ болѣе къ издательству. Онъ вѣчно носился съ грандіозными планами какихъ-то изданій, иногда задуманныхъ недурно и оригинально, но по большей части мертворожденныхъ, главнымъ образомъ вслѣдствіе нежеланія рисковать для нихъ чѣмъ-нибудь крупнымъ.

Онъ, какъ извѣстно, былъ врачомъ по образованію, затѣмъ чиновникомъ министерства финансовъ, редакторомъ „Русскаго Міра“, сотрудникомъ лучшихъ журналовъ и газетъ того времени. Всѣ его изданія однако терпѣли крушеніе. Изъ всѣхъ его затѣй этого рода осуществилась только „Пчела“, которую онъ издавалъ вмѣстѣ съ Микѣшинымъ, и нѣкоторое время она шла недурно. Впрочемъ и этотъ журналъ просуществовалъ недолго. Литературный талантъ былъ у Героглифова небольшой, хотя онъ умѣлъ, что называется, быть зубастымъ. Онъ, помню, всячески подговаривалъ и меня издавать съ нимъ газету, которую онъ проектировалъ во всѣхъ деталяхъ и назвалъ „Гласностью“. Странно однако, что въ идейномъ отношеніи онъ задуманное имъ изданіе охарактеризовать никакъ не могъ. Какъ я его ни допрашивалъ, ничего не выходило. Я даже не могъ себѣ уяснить, единомышленникъ ли онъ мой, сочувствуетъ ли онъ моимъ идеямъ? Дѣло очевидно заключалось для него не въ нихъ, а въ чемъ-то другомъ. Въ чемъ именно, осталось для меня

тайной. Я только видѣлъ, что онъ не щадить ни трудовъ, ни хлопотъ, что онъ обуреваемъ желаніемъ издавать газету. Сколько на Руси людей, которые стремятся приложить свои подчасъ недюжинныя способности къ какому-нибудь дѣлу, но не знаютъ, что это за дѣло, и какъ за него приняться! Сколько силъ уходитъ такимъ образомъ зря! Сколько силъ ухлопалъ и Терпигоревъ на разныя свои затѣи вплоть до устройства конскихъ заводовъ, сколько ухлопалъ ихъ и Героглифовъ! Терпигоревъ въ концѣ концовъ окончательно остановился на томъ, въ чемъ онъ дѣйствительно былъ силенъ, а Героглифовъ такъ до конца жизни въ своихъ вѣчныхъ поискахъ ничего не нашель и не оставилъ послѣ себя замѣтнаго слѣда, остался лишь Героглифомъ, котораго теперь никто уже не разбереть.

Когда я познакомился съ Терпигоревымъ, онъ страшно бѣдствовалъ. Случалось даже такъ, что ему негдѣ было ночевать, и онъ проводилъ ночь въ типографіи на столѣ. Вообще онъ могъ служить прекраснымъ представителемъ русской литературной богемы. Чистое бѣлье было для него недосыгаемою роскошью, пиджакъ, сшитый изъ очень прочной и толстой матеріи, носилъ на себѣ слѣды грязныхъ столовъ и дивановъ, на которыхъ его владѣлецъ ночевалъ. Это ему однако не мѣшало имѣть видъ не только достойный, но даже гордый, когда онъ выходилъ на улицу съ сигарою въ зубахъ, мягкой шляпой на головѣ и тросточкой въ рукахъ. Для всякаго было ясно, что, если онъ глубокою осенью, при холодномъ, пронизывающимъ вѣтрѣ шелъ спокойно по Невскому безъ пальто, въ одномъ пиджакѣ, то только потому, что такъ ему было хорошо. И я въ самомъ дѣлѣ думаю, что его желѣзное здоровье позволяло ему тогда это дѣлать не только безнаказанно, но даже безъ особенно непріятнаго ощущенія.

Здоровье у него дѣйствительно было желѣзное, и надо было много грѣшить, чтобы его расшатать. Сигары онъ курилъ такія, что вчужѣ отъ нихъ дурно становилось, да и напитки придумывалъ онъ экстраординарные. Помню, разъ какъ-то захожу въ пресловутый „Семейный Садъ“ и тотчасъ же у входа вижу: засѣдаютъ Сергѣй Атава и извѣстный въ литературныхъ кружкахъ Эмпэфэ или Мишка Федоровъ или Михаилъ Павловичъ Федоровъ, безсмысленный редакторъ „Новаго Времени“, переходившій, вмѣстѣ съ этою газетою, отъ одного издателя къ другому: отъ Киркора къ Устрялову, отъ Устрялова къ Нотовичу, отъ Нотовича къ Трубникову, отъ Трубникова къ Суворину. Вижу, засѣдаютъ они и что-то пьютъ изъ большихъ пивныхъ кружекъ. Такъ какъ Терпигоревъ былъ большой мастеръ изобрѣтать разныя напитки, то я спрашиваю:

— Что вы собственно пьете, господа?

— Присосѣдся,—отвѣчаетъ мнѣ Терпигоревъ и тотчасъ же командуетъ:

— Человѣкъ, еще кружку такого же.

Когда мнѣ напитокъ подали, я попробовалъ и убѣдился, что Терпигоревъ никакой особой изобрѣтательности на этотъ разъ не проявилъ, что это былъ просто коньякъ, на которомъ сверху плавалъ для видимости ломтикъ лимона. Этого нехитраго, но крѣпкаго напитка онъ выпилъ въ одинъ присѣсть двѣ кружки. Можно ли послѣ этого удивляться, что, несмотря на крѣпкое здоровье, онъ себя уходилъ сравнительно рано (онъ умеръ 54 лѣтъ отъ роду), наживъ жестокой склерозъ.

Но когда я съ нимъ познакомился, т. е. въ 1878 г., онъ въ значныхъ мѣстахъ коньяка кружками не уничтожалъ по той простой причинѣ, что это было для него слишкомъ дорого. Хотя онъ былъ человѣкъ сдержанный и даже друзьямъ жаловаться на свою судьбу не любилъ, однако я ясно видѣлъ, что онъ сильно страдалъ отъ матеріальной необеспеченности. Всегда веселый и остроумный, онъ иногда какъ-то странно задумывался, и затѣмъ его веселость уже не была по-прежнему естественна.

Я очень обрадовался, когда онъ разъ какъ-то мнѣ сообщилъ, что онъ въ скоромъ времени надѣется на поворотъ къ лучшему. При этомъ онъ мнѣ показалъ тощую тетрадку подъ заглавіемъ: „Дворянское разореніе“, которую онъ собирался снести Салтыкову въ „Отечественныя Записки“.

Мысль эта мнѣ показалась нѣсколько смѣлою. Терпигоревъ не пользовался именемъ. Фельетоны, которые онъ писалъ въ второстепенныхъ изданіяхъ, обнаруживали талантъ, но ни въ какомъ случаѣ не обличали въ немъ бытописателя дворянства. Тѣмъ не менѣе меня живо заинтересовала мысль Терпигорева: очень мнѣ ужъ хотѣлось, чтобы онъ какъ-нибудь выбился изъ своего труднаго положенія, да и задуманный имъ трудъ казался мнѣ интереснымъ своею основною идеей. Я его спросилъ, что онъ разумѣетъ подъ дворянскимъ разореніемъ? Имѣетъ ли онъ въ виду только матеріальную сторону? Онъ мнѣ на этотъ вопросъ отвѣтилъ сбивчиво, словно онъ самъ себѣ вопроса не уяснилъ. Я его еще спросилъ, не имѣетъ ли онъ вообще въ виду проявленную дворянствомъ несостоятельность, т. е. его оскудѣніе, его банкротство по всей линіи? Онъ и на этотъ вопросъ не могъ мнѣ отвѣтить вразумительно, и тотчасъ же обратился къ разнымъ примѣрамъ, которые онъ рассказывалъ съ большимъ мастерствомъ. Видя, что путемъ разспросовъ я ничего себѣ не уясню, я попросилъ его прочесть мнѣ то,

что онъ написалъ. Онъ охотно согласился, и я, прослушавъ нѣсколько страницъ, понялъ, въ чемъ дѣло: онъ предлагалъ читателю не экономическое или публистическое разсужденіе, и даже не беллетристику, а просто изложеніе своихъ и чужихъ наблюденій и воспоминаній въ полу-беллетристической формѣ. Такъ какъ этихъ наблюденій и воспоминаній было много, по большей части они были мѣтки и соотвѣтствовали сознанный обществомъ мысли о несостоятельности нашего дворянства въ настоящемъ сравнительно съ крупными его заслугами въ прошломъ, я прослушалъ чтеніе съ большимъ интересомъ и высказалъ Терпигореву увѣренность, что его очерки будутъ съ удовольствіемъ приняты Салтыковымъ, тѣмъ болѣе, что Салтыковъ пишетъ самъ въ томъ же родѣ.

Такъ оно и случилось, и я былъ несказанно радъ, когда Терпигоревъ вскорѣ предсталъ передо мною экипированный съ ногъ до головы во все новое, довольный, веселый, увѣренный въ себѣ, какимъ я его знавалъ затѣмъ вплоть до самой его смерти въ 1895 г.

Прибавлю еще, что Терпигоревъ былъ въ политическомъ отношеніи человѣкъ безразличный. Вотъ почему онъ самъ не могъ себѣ уяснить основной идеи своихъ писаній. Когда я потомъ читалъ и перечитывалъ его вещи, я на немъ, какъ и на другихъ писателяхъ, убѣждался, что въ одномъ и томъ же человѣкѣ можетъ соединиться очень слабая способность къ обобщеніямъ съ поразительною памятью на впечатлѣнія и рѣдкою наблюдательностью. Онъ творилъ только потому, что въ немъ была сильно выраженная потребность дѣлиться съ другими своими впечатлѣніями, а впечатлѣнія эти были интересны, потому что въ основѣ ихъ лежала рѣдкая наблюдательность. Читая Терпигорева, знакомясь съ тѣмъ, какъ онъ развѣнчивалъ и, такъ сказать, уничтожалъ наше дворянство, можно было подумать, что онъ большой радикалъ и вполне примыкаетъ къ „освободительнымъ“ нашимъ увлеченіямъ. На самомъ дѣлѣ онъ въ то время, какъ писалъ свое „Разореніе“, рисовалъ, чтобы подразнить радикально-настроенную сотрудницу газеты, въ которой онъ работалъ (это было время часто повторявшихся политическихъ преступленій и политическихъ казней) „давленней“, какъ онъ ихъ называлъ. Онъ рисовалъ недурно, и тѣмъ болѣе отвратительное впечатлѣніе производили его рисунки. Надо было очень недвусмысленно выразить неудовольствіе по поводу его странной юмористики, чтобы онъ отъ нея воздержался. Въ виду этого политическаго индифферентизма, его, правда, кратковременное сотрудничество въ газетѣ Стасюлевича „Порядокъ“, куда онъ попалъ, благодаря горячей рекомендаціи Салтыкова, было явнымъ недоразумѣніемъ. Терпигоревъ не могъ ничего дать газетѣ, въ ко-

торой „освободительное“ движеніе было альфой и омегой, и которая оцѣнявала и художественныя произведенія почти исключительно съ точки зрѣнія политической. Для Терпигорева живая наблюдательность была нервомъ его писаній. Подчиниться требованіямъ политической тенденціи значило для него обезцвѣтить себя и не проявить того, что въ немъ было самага цѣннаго. Поэтому онъ былъ вялъ и неинтересенъ въ „Порядкѣ“ и ожилъ въ „Новомъ Времени“, гдѣ его никто не стѣснялъ, и гдѣ онъ чувствовалъ себя полнымъ хозяиномъ каждой своей строки.

Р. Сементковскій.

(Продолженіе слѣдуетъ).

